

Будущее не сулило ничего определенного, кроме потерь и расходов... Она смахивала нескончаемые слезы...

Виктор Карлович приехал к вечеру, как всегда с цветами и улыбкой. Едва он вошел в дом, она бросилась к нему и громко разрыдалась. Он, еще не понимая причины ее расстройства, гладил ее плечи и почти по-детски пришептывал:

— Ну-ну... Ну что ты?.. Все обойдется... Все будет хорошо...

Она заснула в его объятиях, а он продолжал целовать ее шею, грудь, живот... На следующий день он проснулся пораньше и поспешил на кухню. На завтрак он готовил яичницу с грибами и сыром...

— Господи, — думала Матильда, не открывая глаз, — почему жизнь состоит из нескольких мгновений радости и множества печалей?.. То доведет до самой крайности, когда уж ничего не мило, а то чуть придушит и тут же отпустит... А потом снова завертится, только с другими бедами и милостями... Неужели так все живут?

Она чувствовала себя птицей, выпущенной из клетки на неуютную волю, и многое ей казалось чужим и непонятым в новом неопределенном мире... даже свалившееся счастье... и пришло оно, стыдно подумать, со смертью мужа... Жизнь вокруг сделалась злее и хуже, а ей впервые за многие годы интересно...

Она точно знала, что не желала вернуть ни одного дня из прежней поры... Только хотела унести далеко-далеко... назад в молодость... в тот самый год... Но не в силах она была изменить прошлое, как не в силах была заглянуть в будущее. И слава Богу, что было оно неведомо... По крайней мере, это вселяло надежду... Матильда медленно потянулась на постели и прислушалась к свисту чайника.

Лос-Анджелес

В лодке

Боже ж мой, какой отвратительный дух стоял в палате. Вонючий воздух захлестывал с головой, едва переступался больничный порог. Это была ядовитая смесь — густая и тягучая. И никакими цветами, листьями зелеными (странно, ведь все окна и двери на балкон были распахнуты настежь), дождем, землей, прогретой солнечными лучами, здесь не пахло. А пахло мочой, гремучей смесью капельниц, потом, гниющей человеческой материей и страхом. Да, страх, а точнее, его степень — ужас, оказывается, тоже имел запах.

Впрочем, весь персонал, сновавший из палаты в палату, на этот дух никакого внимания не обращал. Все до того привыкли к нему, что в праздничные дни легко выпивали и закусывали в ординаторской, пили чай с нехитрыми бутербродами в будние дни, а потом вновь отправлялись выполнять свои постылые обязанности.

Два деда лежали в двухместной восемнадцатой палате неврологического отделения военного госпиталя. Оба с инсультами, у боцмана, старшины первой статьи, потяжелее, у майора медслужбы полегче. Майору нянечка Наташа должна была поставить клизму. Дочка, давая нянечке гривны, особенно настаивала на клизме, сама она стеснялась, а нянечке все было недосуг, а когда она вдруг вспомнила и зашла в палату, деды давно уже спали.

Нянечка задумчиво постояла на пороге минуты две, вслушиваясь в храпы, а потом, зевая, пошла в дежурку. За свою треклятую работу: мытье туалетов, полов, клизмы и подсофы, перестилание белья под лежачими, она имела 150 гривен в месяц, поэтому те денежки, которые ей клали в кармашек, ей были позарез нужны, они помогали хоть как-то кормить семью, состоявшую из мамы и двух дочек. К работе своей она привыкла и уже не закрывала глаза при виде тощих стариковских задниц и бессильно висящих членов. Когда-то в невообразимом далеке она мечтала быть врачихой и ходить в хрустящем белом халатике с миленьким черным саквояжем по домам, слушать через трубочку, как дышат, и выписывать рецепты. Работа в том далеке казалась красивой, чистой и таинственной. Тогда у нее была еще пушистая белая коса и щечки в ямочках. Теперь от косы ничего не осталось, ямочки куда-то делись, и жизнь текла уныло.

В дежурке нянечка Наташа прилегла на диванчик и перед тем, как задремать, дала себе честное слово, что рано утром поставит деду из восем-

надцатой клизму и посадит на горшок. Потом она стала мечтать о любви, у которой еще не было ни лица, ни имени, но так хотелось ее. На этом сладком мечтании она и заснула...

...Деды в восемнадцатой одновременно проснулись от легкого скрипа закрываемой Наташей двери и какое-то время молча пялились в темноту, пересекаемую тонкими полосками света, прорывающегося из коридора.

— Михалыч, спишь? — сипло спросил боцман.

— Не, — ответил майор.

— И шо мы будем до утра делать? А?

Так как за предыдущие ночи почти все темы: кто где служил, на каких кораблях и т. д., были уже проработаны, а о политике говорить ночью совсем не хотелось, то деды опять надолго замолчали.

— А ничего эта девка Наташа, верно? — задумчиво проговорил боцман. И добавил: — Если бы десяток лет скинуть, или в молодости — посмотрел бы на такую?

— Не знаю, она в очках, мне не нравятся бабы в очках, — заупрямился майор.

— А я обратил бы, девка в теле, кровь с молоком, — продолжал гнуть свою линию боцман. Впрочем, говорил он с трудом, глотая буквы и растягивая слова. Язык еще плохо слушался его, так же, как руки и ноги.

Заговорив о нянечке, оба на какое-то время замолчали. Вероятнее всего, в головах у обоих замелькали картинки давно ушедшей молодости, когда ни insultом, ни горшками еще не пахло.

Возможно, майор медслужбы вспомнил, какие клещи носил в 47-м, когда заканчивал медучилище, и как долго ходил по дворам, разыскивая понравившуюся девушку — Нелю из медуна. А если бы он ее не нашел, то не было бы и дочки, оставившей нянечке денег на клизму.

Еще он вспомнил Дунайскую флотилию, в которую попал семнадцатилетним пацаном, и то, как берегли его старшие — не выпуская из трюма, и веселый город Будапешт припомнился, в котором весь личный состав подцепил гонорею, весь, кроме него и еще двух таких же салаг, которых будапештские проститутки еще не интересовали.

Много чего припоминалось дедам, лежавшим в вонючей палате в крошечной тьме знойной июльской ночью.

— Кому она на хрен нужна такая жизнь, — ядовито сказал из тьмы вредный боцман, — нет, чтоб сразу, раз и умереть, так еще помучиться перед этим. Зачем, а?

На какое-то время оба замолчали, представив себя на секунду лежа-

щими в гробах. Майор придирчиво осмотрел всех, стоявших вокруг: и жену, и дочку, и внучку, и правнука, и зятя. Увидел лица друзей, соседей. Вроде бы все пришли. Осмотрел цветы и надписи на венках. Себя лежащим он никак не мог представить. Все ему казалось, что он вертит головой, рассматривая сгрудившихся вокруг людей.

— Понимаешь, — продолжал боцман, — похорон стоит не меньше полутора тысяч гривен, я знаю, я ходил в бюро, это почти триста долларов. Дома таких денег сейчас нет, значит, жене придется одалживать, а с чего отдавать? А как потратились на больницу: на лекарства ушло уже триста гривен, а конца не видно, да еще капельницы — по пятерочке каждый день, а клизмы — по четыре. Вот и посчитай, в какую трубу мы все вылетели...

— Да хрен с ними, пусть государство хоронит, — махнул рукою беспечный майор.

— Пока оно тебя похоронит, ты так завоняешься, что на километр никто не сможет к тебе подойти...

Они вновь замолчали. Лежать в темноте становилось все страшнее и страшнее. Ничего хорошего из этого лежания в перспективе не виделось.

— Слышь, — вновь начал боцман, — а если понадобится сейчас чего, то звони, не звони — никто не явится. Все спят.

Боцман знал, о чем говорил: за неделю до этого он в темноте побрел в туалет и, упав, пролежал там на полу до утреннего обхода.

Теперь они боялись ходить по ночам, возле каждого на стуле стоял маленький подсов, похожий на лейку с широким носиком.

— Да, — подтвердил майор. — Глухо, как в подводной лодке, Кричи, не кричи никто не придет. Так что надо крепиться и ждать утра.

Тьма, обволакивавшая их, и впрямь напоминала толстую оболочку подлодки. Было жутко, не хватало воздуха, начинался приступ клаустрофобии. И чтобы развеять страхи, подступавшие из тьмы, боцман включил транзистор.

— А теперь о погоде, — вкрадчиво произнес мужской голос. — Завтра в Одессе ожидается сухая и ясная погода, температура воздуха плюс 27-28, температура морской воды...

Боцман сердито повернул рычажок, переключил частоту.

— Послушай, муа-муа,

послушай джага-джага, —

надрывался сексуальный голос певицы.

Мир за окном предназначался только для молодых, сильных и здоровых. Старикам в этом мире места не осталось. Жизнь заканчивалась на

грустной ноте в атмосфере абсолютной враждебности и твоей ненужности. Может быть, где-то за океаном и были счастливые восьмидесятилетние люди, которые сидели в удобных креслах на верандах белых домов и, попивая колу, любовались закатом. Или путешествовали по миру. Или общались в обстановке дружелюбия и радушия. И на все там денег хватало: и на лекарства, и на путешествия, и на приличные похороны.

— Ты не знаешь, какого х... мы кровь проливали, — хрипло спросил моряк.

— И хорошее настроение не покинет больше вас, — выдавил из себя транзистор.

— Настроение бодрое, идем ко дну. Открыть кингстоны, — мужественно сказал майор.

А толстый полупарализованный боцман в густой тьме отчетливым голосом неожиданно произнес с соседней кровати:

— Наверх вы, товарищи, все по местам...

Майор, лежавший на соседней койке, слабо подхватил:

— Последний парад наступает...

— Врагу не сдастся наш гордый "Варяг", — выкрикнули они оба, и чтоб легче и громче кричалось, им пришлось сесть на кроватях.

Слова "Варяга" просочились в соседнюю палату и разбудили капитана 1-го ранга:

— Все вымпелы быются и цепи звенят, — пели уже три палаты.

— Наверх якоря поднимают, — присоединились подводники из четырнадцатой.

— Готовые к бою орудия в ряд

На солнце зловеще сверкают.

И далее, далее, сквозь тонкие стены и общие туалеты "Варяг" неся по отделению.

— Прощайте, товарищи, с Богом, ура! — прогремело по всем палатам.

— Кипящее море под нами.

Не думали с вами еще мы вчера,

Что нынче умрем под волнами...

"Варяг" пели летчики и штурманы, танкисты, контрразведчики и пехота.

А первый куплет повторили уже всем отделением. Те, кто мог стоять, дошли до дверей и распахнули их, остальные пели сидя. Не пели только несколько человек, которые лежали под капельницами без сознания.

Впрочем, до одного бессознательного кавторанга что-то все-таки донеслось, потому что откуда-то из черной дыры, в которую он давно уже

влетел, вдруг обнаружилась зеленая трава, он шел по ней и видел ясно, будто со стороны: свои черные клеши и белый с погонами парадный китель, и кортик болтался сбоку, и чуб из-под фуражки торчал.

А в самом конце поля плескалось ослепительное синее море, на котором стоял эсминец и ждал его, и флажками сигнализировал, мол, поторопись, братец, в поход пора.

А потом отделение, как и весь госпиталь, успокоилось, и старики заснули с мокрыми щеками. Отделение сверху напоминало светящимися своими окнами корабль, который неся с невероятной скоростью и увозил огромное количество стариков на борту в какие-то неведомые и печальные дали.

И только тихий смех и страстный шепот девятнадцатилетней медсестры Лидочки, которая в этот полночный час в пустой и темной палате № 2 отдавалась симпатичному морячку Сереже, вносил диссонанс и нарушал это равномерное и беспрестанное движение в черные дали, рождая безумные надежды и фантазии в головах стариков, спящих в соседних палатах. Ведь стояло лето, все окна и двери были распахнуты настежь, и страстные стоны юных любовников разносились по всему отделению...

